

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИЛ В СЧАСТЬЕ

Он сел в Ипсвиче, и под мышкой у него было семь различных еженедельных газет. Все они, как я успел заметить, страховали своих читателей от смерти или несчастного случая на железной дороге. Он устроил свои вещи в багажной сетке, снял шляпу, положил ее возле себя на скамейку, вытер лысую голову шелковым носовым платком красного цвета и принялся старательно надписывать свое имя и адрес на каждой из семи газет. Я сидел напротив и читал „Панч“. Я всегда беру с собой в дорогу какой-нибудь старый юмористический журнал — по моему, это успокаивает нервы. Когда мы подъезжали к Мэннингтри, вагон сильно тряхнуло на стрелке, и подкова, которую он заботливо положил над собой, проскользнула в отверстие сетки и с мелодичным звоном упала ему на голову. Он не выразил ни удивления, ни гнева. Приложив платок к ссадине, он нагнулся, поднял подкову, поглядел на нее с упреком и осторожно выбросил за окно. — Больно? — спросил я. Глупейший вопрос. Я понял это, едва открыл рот. Эта штука весила по меньшей мере три фунта — на редкость большая и увесистая подкова. Видно было, как на голове у него вздувается здоровенная шишка. Только дурак усомнился бы, что ему больно. Я ожидал, что он огрызнется; по крайней мере я на его месте не сдержался бы. Однако он, видно, усмотрел в моих словах лишь естественное проявление сочувствия. — Немножко, — ответил он. — На что она вам? — спросил я. Не часто увидишь, чтоб человек отправлялся в дорогу с подковой. — Она лежала на шоссе как раз возле станции, — объяснил он. — Я подобрал ее на счастье. Он развернул свой платок, чтобы свежей стороной приложить к опухшему месту, а я тем временем пробурчал что-то глубокомысленное насчет превратностей судьбы. — Да, — сказал он, — мне в жизни порядком везло, только пользы мне от этого не было никакой. Я родился в среду, — продолжал он, — а это, как вы, наверно, знаете, самый счастливый день, в какой может родиться человек. Моя мать была вдовой, и никто из родственников не помогал мне. Они говорили, что помогать мальчику, который родился в среду, — все равно что возить уголь в Ньюкасл. И дядя, когда умер, завещал все свои деньги до единого пенни моему брату Сэму, чтобы хоть как-нибудь возместить то обстоятельство, что он родился в пятницу. А мне достались только наставления; меня призывали не забывать об ответственности, которую налагает богатство, и не оставить помощью близких, когда я разбогатею. Он замолчал, сложил свои газеты — каждая со страховкой — и засунул их во внутренний карман пальто. — А потом еще эти черные кошки... — продолжал он. — Говорят, они приносят счастье. Так вот, самая черная из всех черных кошек на свете появилась в моей квартире на Болсвер-стрит в первый же вечер, как я туда переехал. — И она принесла вам счастье? — поинтересовался я, заметив, что он умолк. На лицо его набежала тень. — Это как посмотреть, — ответил он задумчиво. — Возможно, мы не сошлись бы характерами. Всегда есть такое утешение. Но попробовать все-таки стоило. Он сидел, устремив взгляд в окно, и некоторое время я не решался прервать его печальные, по всей видимости, воспоминания. — Так что же произошло? — спросил я наконец. Он вернулся к действительности. — О, ничего особенного! — сказал он. — Ей пришлось ненадолго уехать из Лондона, и на это время она поручила моим заботам свою любимую канарейку. — Но вы-то здесь ни при чем, — не унимался я. — Да, пожалуй, — согласился он. — Однако это породило охлаждение, которым кое-кто не замедлил воспользоваться. Я уж ей и свою кошку взамен предлагал, — добавил он больше для

себя, чем для меня. Мы сидели и молча курили. Я чувствовал, что утешения здесь ни к чему. — Пегие лошади тоже приносят счастье, — заметил он, выколавывая трубку о край спущенного оконного стекла. — Была у меня и пегая... — Из-за нее вы тоже пострадали? — удивился я. — Я потерял из-за нее лучшее свое место, — последовал несложный ответ. — Управляющий и без того терпел дольше, чем я смел надеяться. Но ведь нельзя же держать человека, который вечно пьян. Это портит репутацию фирмы. — Без сомнения, — согласился я. — Видите ли, — продолжал он, — я не умею пить. Иные, сколько ни выпьют, — ничего, а меня первый стакан с ног валит. Я ведь к этому непривычен. — Так зачем же вы пили? — не отставал я. — Лошадь вас, что ли, заставляла? — Дело обстояло вот как, — начал он, все еще осторожно потирая свою шишку, которая была уже размером с яйцо. — Лошадь принадлежала прежде одному виноторговцу, который заезжал по делу почти во все питейные заведения. Вот лошадка и взяла в привычку останавливаться у каждого кабака, и ничего с ней не поделаешь, по крайней мере я ничего не мог с ней поделаться. Любой кабак распознает за четверть мили и несется стрелой прямо к дверям. Сначала я пытался справиться с нею, но только попусту терял время и собирал толпу зевак, которые держали пари — кто кого. К этому я бы еще как-нибудь притерпелся, только однажды какой-то трезвенник, стоявший на противоположной стороне улицы, обратился к толпе с речью. Он называл меня Паломником, а лошадку Поллионом или чем-то в этом роде, и возглашал, что я сражаюсь с ней ради небесного венца*. После этого нас стали величать „Полли и Паломник в битве за венец“. Разумеется, меня это разозлило, и у следующего кабака, к которому она меня принесла, я спешил и сказал, что заехал выпить стопку-другую шотландской. Так все и началось. Потребовались годы, чтобы отстать от этой привычки. — Но со мной всегда так случается, — продолжал он. — Еще когда я поступил на первое свое место, не успел я прослужить и двух недель, как хозяин подарил мне к рождеству гуся в восемнадцать фунтов весом. — Ну, уж от этого ничего худого не могло произойти, — заметил я. — Редкое счастье. — Вот то же самое говорили тогда другие клерки, — ответил он. — Старик в жизни никому ничего не дарил. „Вы полюбились ему, — говорили они. — Счастливчик!“ Он тяжело вздохнул. Я понял, что с этим связана целая история. — И что же вы сделали с гусем? — спросил я. — В том-то и беда! — ответил он. — Я сам не знал, что с ним делать. Это случилось в сочельник, в десять часов вечера. Только я собрался домой, а он дает мне гуся. „Тидлинг и братья“ прислали мне гуся, Биглз, — сказал он, когда я подавал ему пальто. — Очень мило с их стороны, только к чему он мне? Возьмите его себе!“ Я, разумеется, поблагодарил его и был очень ему признателен. Он пожелал мне счастливого рождества и вышел из конторы. Я завернул подарок в бумагу и взял его под мышку. Это была великолепная птица, но тяжеловатая. И так как приближалось рождество, я подумал, что по этому случаю неплохо бы угоститься стаканчиком пива. Я зашел в кабачок на углу и положил гуся на стойку. — Здоровенный, — сказал хозяин, — у вас будет завтра доброе жаркое. Его слова заставили меня призадуматься: только тут я понял, что птица мне не нужна и проку мне от нее никакого. Я собирался в Кент, чтобы провести там праздники в семье одной молодой особы. — Той самой, у которой была канарейка? — вставил я. — Нет, это все случилось еще до того, — ответил он. — На сей раз делу помешал гусь, о котором я вам рассказываю. Родители ее были состоятельные фермеры, и привозить им гуся было бы глупее глупого, а в Лондоне я не знал никого, кому бы мог его подарить. И вот, когда хозяин вернулся, я спросил, не согласится ли он купить у меня гуся, и сказал, что возьму недорого. — Мне он не нужен, — ответил тот, — у меня здесь и без того уже три штуки. Может, один из этих джентльменов у вас его купит. И он повернулся к нескольким молодцам, которые сидели, потягивая джин. Мне подумалось, что им даже вскладчину не купить и цыпленка. Однако самый обшарпанный из них сказал, что он не прочь взглянуть на мой товар, и я развернул сверток. Он долго осматривал и ощупывал гуся, допрашивал меня, как я его раздобыл, и кончил тем, что выплеснул на него добрых полстакана

* Намек на эпизод из аллегорической повести Бэньяна „Путь паломника“ (1678), где герой бьется с духом зла Аполлионом.

джина с водой. Затем он предложил мне за гуся полкроны. Это так возмутило меня, что я, не сказав больше ни слова, схватил в одну руку гуся, в другую веревку и бумагу и выскочил вон. Так я и шел некоторое время со своей ношей: я был взволнован и ничего не замечал. Когда же я поостыл, то стал размышлять над тем, как, должно быть, смешно выгляжу. То же самое, очевидно, пришло в голову и двум-трем мальчикам. Я остановился под фонарем и попытался завернуть гуся. При мне был еще портфель и зонтик, и первым делом я уронил гуся в сточную канаву, чего и следовало ожидать от человека, который при помощи одной пары рук пытается справиться с четырьмя различными предметами и тремя ярдами веревки. Вместе с гусем я зачерпнул целую кварту грязи. Почти вся она осталась у меня на руках и на одежде да еще немало на обертке. И тут пошел дождь. Я сгреб все свои пожитки и побежал в ближайший кабачок, где надеялся достать еще кусок веревки и увязать гуся в аккуратный сверток. Кабачок был переполнен. Я протискался к стойке и бросил на нее гуся. При виде его почти все вокруг умолкли, и молодой человек, стоявший возле меня, произнес: — Вы сами его убили? Очевидно, я и впрямь казался несколько возбужденным. Я думал и здесь его продать, но присутствующие не внушали мне на этот счет никаких надежд: Я выпил пинту эля, — я был порядком измучен, — соскреб с несчастного гуся сколько мог грязи, завернул его в чистый лист бумаги и вышел из кабачка. Когда я переходил улицу, меня осенила счастливая мысль — проиграю его в лотерею! Я тут же отправился на поиски подходящего места. Пока я его разыскивал, пришлось выпить три или четыре стакана виски, потому что пить пиво я был уже не в состоянии — от пива меня всегда сильно разбирает. Наконец я все-таки нашел нужных мне людей, они расположились по-домашнему в тихом уютном домике неподалеку от Госвелл-роуд. Я объяснил хозяину, чего хочу. Он сказал, что не возражает, но надеется, что, продав гуся, я поставлю всем выпивку. Я ответил, что с восторгом это сделаю, и вручил ему птицу. — Вид у нее не того, — сказал он. — О, это пустяки! Я нечаянно уронил ее, — оправдывался я. — Это отмоется! — И пахнет как-то чудно, — заметил он. — Это от грязи, — ответил я. — Сами знаете, что такое лондонская грязь. А тут еще один джентльмен пролил на него джин. Но, когда его зажарят, никто ничего не заметит. — Что ж, может, и так, — согласился он. — Сам я на нее не польщусь, но, если кому вздумается, дело хозяйское. Гусь никого не воодушевил. Я начал с шести пенсов и сам купил билет. Я предоставил хозяину полную свободу действий, и ему удалось, правда чуть ли не силком, втянуть в это дело еще пять человек. Какой-то мрачного вида субъект, храпевший в углу, вдруг проснулся, когда я уже шел к дверям, и предложил мне за гуся семь с половиной пенсов, — почему именно семь с половиной, я так и не понял. Он унес бы гуся, я никогда б его больше не увидел, и вся моя жизнь сложилась бы по-иному. Но судьба всегда была против меня. Я ответил ему, возможно с излишним высокомерием, что рождественские благотворительные обеды выдают в другом месте, и вышел. Близилась ночь, а до дому мне было далеко. Я готов был проклясть день и час, когда впервые увидел эту птицу. Теперь мне казалось, что она весит по меньшей мере тридцать шесть фунтов. Мне пришло в голову сбить ее торговцу битой птицей, и скоро я нашел такую лавку на Мидлтон-стрит. За милую вокруг не было видно ни одного покупателя, но по тому, как хозяин драг глотку, можно было подумать, что на нем держится вся торговля в Кларкенвелле. Я вытащил гуся из свертка и положил перед ним на прилавок. — Это еще что такое? — спросил он. — Гусь, — ответил я. — Вы можете получить его по дешевке. В тот же миг он схватил гуся за шею и швырнул в меня. Я попытался увернуться, но он угодил мне в висок. Если вам никогда не запускали в голову гусем, то вы и представления не имеете, как это больно. Я подобрал гуся и в свою очередь кинул в него, но тут появился полицейский со своим обычным: „Что за беспорядки?“ Я объяснил в чем дело. Тогда хозяин вконец разъярился и завопил на всю округу: — Вы только поглядите! — кричал он. — Скоро полночь, и у нас в магазине еще семь дюжин непроданных гусей, а этот болван приходит и спрашивает, не куплю ли я еще одного. Тут я понял, что затея моя преглупая, и, последовав совету полицейского, тихонько удалился, захватив с собой птицу. „Придется его кому-нибудь отдать, — сказал я себе. — Найду какого-нибудь достойного бедняка и подарю ему эту проклятую птицу“. Мне

попадалось навстречу множество людей, но ни один из них не выглядел достаточно достойным. Может быть, не там я их искал, где нужно, или не в тот час, только все, кого я встречал, казались мне недостойными гуся. Проходя по Джадд-стрит, я предложил его какому-то голодного вида субъекту. Оказалось, что это просто пьяный забулдыга. Он так и не понял, чего я от него хочу, и долго шел за мной и во весь голос поносил меня, пока не свернул по ошибке на Тэвисток-плейс, где погнался за другим прохожим, продолжая выкрикивать ругательства. На Юстон-роуд я остановил какую-то девчонку, совершенного заморыша, и стал упрашивать ее взять гуся. Она ответила: „Еще чего!“ — и побежала прочь. Я слышал, как она пронзительным голосом орала мне вслед: „Украл гуся! Украл гуся!“ Я обронил сверток, когда шел по малоосвещенной части Сеймур-стрит, но какой-то прохожий подобрал его и вернул мне. Я уже не мог больше объяснять и оправдываться. Я дал ему монетку в два пенса и побрел со своим гусем дальше. Кабачки уже закрывались, и я заглянул еще в один, чтобы в последний раз выпить. Правда, я и без того уже порядком нагрузился, ведь мне, человеку непривычному, довольно и стаканчика пива. Но на душе у меня было скверно, и я надеялся, что это меня подбодрит. Кажется, я выпил джину, к которому испытываю крайнее отвращение. Я решил забросить гуся в Оукли-сквер, но полицейский не сводил с меня глаз и дважды прошел за мной вдоль всей ограды. На Голдинг-роуд я хотел было закинуть гуся в подвал, но мне опять помешал полицейский. Казалось, вся ночная смена лондонской полиции только тем и была занята, как бы помешать мне избавиться от гуся. Полицейские проявляли к нему такой интерес, что мне подумалось, уж не хотят ли они сами его получить. Я подошел к одному из них на Кэмден-стрит и, назвав его „Бобби“, спросил, не нужно ли ему гуся. — Чего мне не нужно, так это вашего брата, нахалов, — ответил он внушительно. Это было такое оскорбление, что я, разумеется, не стерпел и что-то ему возразил. Что тут произошло, я не помню, но кончилось все тем, что он объявил о своем намерении забрать меня. Я ускользнул от него и помчался стрелой по Кинг-стрит. Он засвистел в свисток и кинулся следом. Какой-то человек выскочил из парадного на Колледж-стрит и пытался меня остановить. Но я мигом с ним расправился, ударив его головой в живот, пересек Кресцент и через Бэтт-стрит понесся обратно на Кемден-роуд. На мосту через канал я оглянулся и увидел, что меня никто не преследует. Я бросил гуся через парапет, и он с плеском упал в воду. Со вздохом облегчения я свернул на Рэндолф-стрит, как вдруг стоявший там констебль схватил меня за шиворот. Я горячо спорил с ним, когда, запыхавшись, подбежал тот первый дуралей. Они заявили, что мне лучше всего объяснить дело инспектору; я был того же мнения. Инспектор спросил меня, почему я убежал, когда первый констебль собирался арестовать меня. Я ответил, что не хотел провести рождество в кутузке, но это показалось ему слабым аргументом. Он спросил меня, что я бросил в канал. Гуся, ответил я. С чего это мне вздумалось бросать гуся в канал, спросил он. А с того, что я сыт по горло этим зверем, ответил я. Тут вошел сержант и доложил, что сверток удалось выудить. Они немедленно развернули его на столе у инспектора. В свертке был мертвый ребенок. Я объяснил им, что это вовсе не мой сверток и не мой ребенок, но они даже не скрывали, что не верят мне. Инспектор сказал, что случай этот слишком серьезен, чтобы отпустить меня на поруки, но, поскольку я не знал в Лондоне ни одной живой души, это меня как-то не тронуло. Я попросил их послать телеграмму моей невесте с уведомлением, что не по своей воле я задерживаюсь в городе и проведу рождество так тихо и спокойно, как не мог и желать. В конце концов дело прекратили за недостатком улик, и на мне осталось только обвинение в пьянстве и нарушении общественного спокойствия. Но я потерял службу и невесту. С тех пор я видеть не могу гусей.

Мы подъезжали к Ливерпуль-стрит. Он собрал свои вещи и попытался надеть шляпу. Но шишка от подковы никак не давала ему нахлобучить шляпу, и он с грустью положил ее обратно на скамейку. — Да, — промолвил он тихо, — не скажу, чтоб я очень верил в счастье.